



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ДЕТЕКТИВНЫЕ РОМАНЫ  
ДАРЫИ ДЕЗОМБРЕ:

---

**ПРИЗРАК НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА**

**ПОРТРЕТ МЕРТВОЙ НАТУРЩИЦЫ**

**ТАЙНА ГОЛЛАНДСКИХ ИЗРАЗЦОВ**

**ОШИБКА ТВОРЦА**

**ТЕНИ СТАРОЙ КВАРТИРЫ**

**СЕТЬ ПТИЦЕЛОВА**



Дарья Дезомбре  
ТАЙНА  
ГОЛЛАНДСКИХ  
ИЗРАЗЦОВ



Москва  
2019

УДК 821.161.1-312.4  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Д26


Оформление серии *А. Саукова*  
Редактор серии *А. Антонова*  
Под редакцией *О. Рубис*

**ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!**

**МЫ В СОЦСЕТЯХ:**

[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

 **vmirefiction**

 **read\_action**

### **Дезомбре, Дарья.**

Д26 Тайна голландских изразцов : роман / Дарья Дезомбре. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-106081-7

Странная кража случается в особняке в Царском Селе под Санкт-Петербургом – неизвестный забирает только 20 изразцов фламандской работы, объединенных одной темой: играющими детьми. Хозяин дома, состоятельный бизнесмен, не на шутку заинтригован и просит следователя с Петровки Марию Каравай, блестяще зарекомендовавшую себя в делах, связанных с историей и искусством, заняться «частно» этим делом. В это же время в Москве почти одновременно вспыхивают пожары: один – в шикарном отеле «Метрополь», другой – в офисе на Патриарших. В огне погибают два человека, никак не связанных между собой, – голландский турист и столичный антиквар. И пока старший уполномоченный Андрей Яковлев идет по горячему следу, уводящему в уральскую тюрьму, где уже многие годы отбывает срок широман и массовый убийца, Мария Каравай отправляется в Брюгге и Антверпен, расследуя обстоятельства жизни загадочного семейства XVI века. Ни одному из них, впрочем, не приходит в голову, что тайна четырехвековой давности и современные смерти в огне могут быть звеньями одной цепи...

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-106081-7

© Фоминых Д.В., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

*À mon mari et père de mes enfants.  
Моему мужу и отцу моих детей*

Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.

*Эдгар Аллан По.  
Похищенное письмо*

Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!

*Фридрих Ницше.  
Так говорил Заратустра*





## ПРОЛОГ

«С чего все началось?» — спрашивал он себя без конца, осторожно пробираясь узкими улочками во влажных тревожных сумерках.

В Тренте — в семьдесят пятом? С убийства того мальчика, Симона? Или все-таки в девяностые — в Испании, Португалии, на Сицилии?

А возможно, уже позже — в Нюрнберге и Берлине — в десятом?

Откуда, из какой зловонной темной дыры, поднялась на поверхность та ненависть, что теперь, казалось, носилась не видимая никем, кроме него, над этими сверкающими под ласковым солнцем лазоревыми водами? А вдруг он просто старый испуганный дурак, который видит страшные знаки там, где их нет? И замечает тайную угрозу даже в этом волшебном городе, так непохожем на сухую раскаленную твердь его родины? «Родина? — усмехнулся он. — Какая родина?» У таких, как он, ее не было уже тысячу с лишним лет. Думать, что она у тебя есть просто по праву рождения, — горькое и унижительное заблуждение. И вылечат от него быстрым и жестоким способом, выгнав, как вшивую собаку, за ворота дома, который ты считал отчим.

И вот теперь, зайдя за угол покрытого серою плесенью палаццо и, как всегда, в восторженном ошеломлении замерев перед прекраснейшей в мире лагуной, он твердил себе: «Не мягчить душой, не расплываться мыслью, не пытаться слиться с этим великолепием. Помнить — опасность близко».

Но, Господь Всемогуший, как хотелось слиться и — укрыться в этой сияющей красоте! О Серениссима, дивная раковина, вынесенная прозрачной бирюзовой волной на Адриатический берег! Слияние в едином месте творения Божеского и человеческого. Воды — от Бога. И камня — возведенного человеческой рукой.

Он вздохнул и вновь свернул на узкую полоску набережной, тянувшейся вдоль канала, уходящего в глубь города. Ветер стих, и, как всегда в отсутствие движения воздуха с моря, от застоявшейся воды внизу стал подниматься тяжелый запах испарений. Он поскользнулся на гнилых отбросах, едва успел ухватиться за влажную стену дома. И вдруг... Вдруг где-то высоко, над почти смыкающимися над его головой стенами домов, раздался первый удар колокола. Он вздрогнул и на секунду замер, а там, в далеком лиловеющем небе, на этот первый раскат откликнулась вторая, а потом и третья звонница. Колокольный гул плыл над городом, словно опутывая его невидимой сетью, и он внезапно почувствовал, что стал ее заложником. Мелкой мушкой, попавшей в широко расставленную паутину. Зачем, зачем он так задержался в порту? До дома было еще далеко, а темнело здесь осенью мгновенно.

Можно, — размышлял он, — взять частную лодку на Гранд-канале, но кто мог бы поручиться, что его, с мешочком голкондских камней, только что с таким трудом выторгованных прямо в порту на вернувшихся на рассвете судах, не выкинут, обобранного, в зловонный канал? — Он скривил тонкий рот. — Так же, как никто не может дать гарантию, что его не подкараулят на одной из этих тесных улочек и не выбросят, опять же, в ту же черную маслянистую воду. Он решил — и сделал знак рукой. Тотчас от темной стены отделилась темная же тень и беззвучно, как призрак, подплыла к маленькой пристани у горбатого мостика, на котором он стоял.

— Куда нужно синьору? — негромко произнес хриплый голос.



Он назвал адрес, сердце испуганно дрогнуло: что-то скажет? Но лодочник в ответ лишь кивнул и, схватившись длинной жилистой рукой за столбик у пристани, дал ему возможность осторожно шагнуть в качающуюся лодку.

Всю дорогу они молчали: лодочник ровными мерными движениями резал веслом кажущуюся плотной ночную воду, изредка сотрясаясь в приступе кашля, как вспугнутая птица — в крике. А пассажир кутался в плащ, задумчиво вслушиваясь в всплеск отходящей от лодки волну, в которой нервно дрожала выкатившаяся на иссиня-черное небо полная луна. «Надо уезжать, — думал он. — Пора, как бы ни хотелось остаться». Жил бы один, легко отмахнулся бы от тайных токов интуиции — мол, бабьи страхи! Но у него еще была семья. Точнее, то, что от нее осталось. И пусть его интуиция кажется иным колдовской, он-то знал: это не дар предвидения, а настоящий, как хорошее вино, в мехах страха и крови опыт. «Но куда бежать? — спрашивал он себя горько. И отвечал себе же: — Мир большой. Есть Левант, Константинополь и Польша. Выбирай — север или юг. Главное, чтобы можно было заниматься своим делом, которое кормит меня и детей».

— Приехали, — сказал баркайоло, пришвартовавшись к низкому берегу и с явной опаской глядя на то место, которое его пассажир уже пять лет считал своим домом. Мужчина в длинном плаще встал, кинул монету лодочнику и, зная, что руку ему тут не подадут, сам шагнул с качающейся лодки на скользкую, омываемую водой в лунных бликах лестницу, ведущую на набережную.

Здесь было еще тише, чем в оставшемся справа по борту ночном городе. После дневного портового многоголосья эта тишина показалась мертвой, зловещей. И, нарушая ее, он поднял руку и постучался в высокие ворота.

Шел 1548 год.



## МАША

— Машенция, подъем! Завтрак готов! — услышала сквозь сон Маша и приоткрыла глаза: на высоком потолке плескались солнечные зайчики — отражение воды канала. Солнце. Сегодня светило редкое в этом городе солнце. Когда Маша была маленькая, Любочка говорила внучке, что это она, Маша, его привезла. И Маша в глубине души до сих пор в это верила: она дарила городу солнце, а он ей — ощущение счастья. Неразмытого, концентрированного воспоминания о детском беззаботном каникулярном времени. Проведенном здесь, в этой нелепой комнате с высоченными потолками, где овальная розетка лепнины почему-то уходила к правой стенке и обрывалась ровно на трети.

— Что ты хочешь? — говорила ей бабка, закуривая. — Нетипичный жилой фонд. Бог весть чьи тут были хоромы. Ясно одно: твоя комната и соседняя составляли единую, видимо, гостиную. А после, как выгнали бывших хозяев, квартиру, как старое пальто, перекраивали то так, то эдак...

Чтобы в результате получился такой нелепый расклад: посередке огромная, по советским понятиям, кухня. Слева — бабкина комната, более-менее пристойных пропорций, а справа — гостевая, она же — Машина. Длинная, как пенал, но освещенная высоким окном во всю узкую стену. Кровать стояла к окну впритык — и освещение, и настроение обитателей этой комнаты

зависело от небес за окном. Выходило тройное отражение: неба в комнате, неба и солнца в зеркале воды внизу, в канале, и оттуда уже — отблеском на потолок. Это движение светотени сопровождало Машины пробуждения в Питере многие годы, убаюкивало и становилось фоном для детских бесконечных мечтаний.

Маша спустила ноги с кровати, зевнула и забрала волосы в хвост на затылке. Пора было вставать — вот уже неделя, как она приехала к бабке на Грибоедова, и неделю же не могла проснуться самостоятельно. Каждое утро Любочка будила ее из-за стенки призывом к столу. И это было чертовски приятное пробуждение. Маша принюхалась: запах бекона разлетался по родной питерской квартире — Любочка не признавала «легких» завтраков. Завтрак был ее основным приемом пищи, запивался литром кофе из большого ультрамаринового, закопченного по дню от старости кофейника и сопровождался, плюс к яичнице, тостами. Из древнего же, советских еще времен, тостера, который бабка упрямо не выбрасывала, а раз за разом относила чинить. Новые времена коснулись лишь сыра — финского, сменившего пошехонский. И замесившего вологодское финского же масла («Чухонские молочные продукты — самые лучшие», — наставительно говорила бабка).

Маша зашла на кухню и зажмурилась от солнца, бившего в широкое трехстворчатое окно. Подле окна стоял большой круглый стол, накрытый скатертью с мережкой. Слева по стенке располагались плита и длинный разделочный стол, справа — массивный буфет с посудой и диванчик, покрытый старым пледом. То, что самая большая комната в квартире была отдана под кухню, удивляло всех гостей, измученных убогим советским метражом, и казалось бессмысленным пространственным расточительством... Но на самом деле таковым не являлось. Кухонная комната была самой радостной, в любое время года, несмотря на погоду, светлой. Там царил уют, и можно было делать кучу раз-

ных дел, и все — приятные: готовить и поесть приготовленную еду, пить вино или чай с друзьями, читать книжку на продавленном диванчике, изредка поднимаясь, чтобы достать себе песочного печенья из буфета. В этой квартире, так же как во всем петербургском бытии, наблюдалась некая демонстративная отстраненность от московского приземленного прагматизма. Здесь легче дышалось, и именно сюда, к бабке, Маша всегда приезжала зализывать раны и оглядеться, чтобы решить, что делать со своей жизнью.

Впрочем, на этот раз официальной версией был грядущий Любочкин день рождения — ей перевалило за восемьдесят, и каждый «праздник детства» она встречала в глубокой печали, сетуя на неумолимость времени и мрачно попивая из наперсточных рюмочек «Таллинский бальзам». Обострялись артроз с артритом — все эта питерская сырость! — начинало шалить сердце.

— Не обращай внимания. Твоя бабка как-то мне призналась, что переживает из-за своего возраста лет с тринадцати, — однажды заметила мать. — Сначала она сетовала, что уходит детство, потом юность, зрелость... А теперь вот — боязнь глубокой старости, хотя, поверь, нам бы с тобой такую старость!

И Маша не могла не согласиться. Любочка жила вполне себе светской жизнью. Под боком были залы филармонии, Большой и Малый, и выставочный зал в корпусе Бenuа при Русском музее. Чуть подалее — Мариинка, которую бабка по старой памяти называла Кировским, и Эрмитаж, куда она ходила со служебного входа как к себе домой. Жизнь Любочки была комфортной и простой в использовании, потому что у нее имелись ученики. Точнее — УЧЕНИКИ. Любочка, она же Любовь Алексеевна, преподавала лет сорок подряд языкознание в Герцена, он же — Педагогический университет. Языкознание учили и сдавали инязовцы, которые при выпуске распределялись кроме как в школы в самые разнообразные структуры, ибо иностранный без словаря в то уже далекое, не изба-

лованное специалистами «с языком» время был достаточен для начала недурной карьеры. Бывшие студенты шли в переводчики, экскурсоводы, в служащие отелей, принимающих иностранные делегации, и на предприятия, имеющие отношения с западными партнерами... А поскольку большинству Любочкиных учеников сейчас уже стукнуло пятьдесят, они успели весьма высоко подняться по карьерной лестнице и потому без труда могли доставить удовольствие любимой преподавательнице. Чего бы той ни хотелось: билетов ли на премьеру в Мариинке или круассанов на завтрак из «Европейской», где бывший студент занимал пост управляющего. Именно оттуда через день в квартиру на Грибоедова являлся посыльный в ливрее и с картонной коробкой с вензелями «Гранд-отеля».

Сдобное великолепие из коробки вкупе с яичницей украшало сейчас стол, залитый мартовским прохладным солнцем. Форточка была приоткрыта, и кремовая штора чуть колыхалась от осторожно впущенного в кухню весеннего ветра. За столом в махровом бордовом халате сидела Любочка и разливала кофий по серьезным, большим кружкам: начиналось время завтрака, прекрасное время, определяющее весь предстоящий день. Завтрак, по мнению Любочки, не мог быть скромным — утренней обязателькой, банальным перекусом перед уходом на работу. Завтрак давал запас прочности перед выходом в этот жестокий мир. После правильного завтрака проще было выдержать любые испытания, посылаемые злодейкой-судьбой.

— Выспалась? — Бабка положила кусочек сыра на тост с расплавленным маслом, запила все это большим глотком кофе и подмигнула Маше веселым, не смотря на возраст, ничуть не выцветшим ярко-голубым глазом.

— Еще как! — Маша подмигнула в ответ, соскребая со старой сковородки яичницу-глазунью и стараясь не расплескать желток. — Чем сегодня займемся? У вас есть план, мистер Фикс?

Вопрос был праздный: у Любочки всегда имелся план и даже иногда несколько. И если по официальной версии Маша приехала к бабке с целью ободрить и развлечь ее в канун дня рождения, то истина располагалась, как водится, где-то между Любочкиной напускной тоской и Машиной профессиональной потерянностью. Это Маше нужно было уехать из Москвы «прополоскать мозги балтийским ветерком», как называла это бабка. И именно Любочка развлекала Машу, а вовсе не наоборот.

— Заедем к Сонечке? Помнишь ее? — спросила бабка, щедро выкладывая в прозрачную розетку клубничное варенье.

— Эта та, у которой муж полковник?

Любочка кивнула:

— Покойный. Она еще в Меншиковском гегемонит.

«Гегемонит» на поверку означало быть хранителем дворца-музея Меншикова на Васильевском. Маша усмехнулась: как не помнить? Она вообще наизусть знала всех бабкиных подруг, много лучше, чем материнских. Сонечка, Раечка, Ирочка, Тонечка. С истинно ленинградским интонированием в речи и по-петербургски прямыми спинками. Большинство из них пережили блокаду, но это никогда не было темой бесед. Беседы велись вокруг временных выставок в Русском: «Привезли фарфор советской эпохи, помнишь, из того, с серпами, которым бы мы и стол накрыть постеснялись!» Смены экспозиции в Эрмитаже: «Зашла по привычке во французскую секцию на третьем, и ты не поверишь, куда они перевесили Матисса!» И гастролей пианистов: «Очень, очень фактуристый мальчик, знаешь, настоящий сибиряк, из Рахманинова выжимает то, чего сам Сергей Васильич, поди, не вкладывал!» Маша, помнится, пару лет назад оказалась с Тонечкой, бывшей профессоршей консерватории, в Мариинском театре. У Тонечки тоже были свои ученики, сидящие в оркестре и организовавшие им билеты — аж в Царскую ложу. Восьмидесятилетняя Тонечка пришла в

узком черном платье, с драматически подведенными глазами и сухим ртом в ярко-алой, чуть подтекающей помаде. В потертой театральной сумочке кроме бинокля пожелтевшей слоновой кости лежала плоская фляга с коньяком. Тонечка, ничуть не смущаясь, перед спектаклем протянула ее Маше с бабкой и, получив вежливый отказ, на протяжении всего действия регулярно к ней прикладывалась. На напудренном лице несколько не отражалось прогрессирующее опьянение. Лишь однажды, во время сольной партии Вишневой в роли Джульетты, она повернулась к подруге и вдруг громко и четко произнесла: «Страна — говно. Но танцуют — гениально!» Маша вряд ли когда-нибудь забудет выражение лиц мелкой и средней чиновничьей публики, соседствующей с ними в Царской ложе.

— Как дела у твоих «девочек»? — поинтересовалась она, разломив круассан и в предвкушении намазывая белую мякоть маслом, а потом вареньем.

— Сонечка подрабатывает консультациями у новых русских. — Любочка хмыкнула. — Рассказывает, бедняжка, чем отличается классицизм от идиотизма.

— С результатом? — искренне посочувствовала Сонечке Маша.

Бабка пожалала плечами:

— По крайней мере денежным.

Сама бабка до сих пор подрабатывала частными уроками английского и решительно отказывалась принять материальную помощь от дочери.

— А Антонина?

— Выпивает, не без этого. Но, согласись, в нашем преклонном возрасте алкоголизм уже не так страшен. А вот Раечка... — Глаза бабки загорелись тайным огнем, и Маша улыбнулась: в жизни Раечки явно происходило нечто, достойное сплетни. — Не поверишь! Завела себе любовника!

Маша замерла, а потом расхохоталась: от Раечки, кокетливой, похожей на подвядшую, точнее, подчерстневшую сдобную булочку, можно было ждать всего.